## Возвращение

Автор: *Платонов А.П.*

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по

демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как

и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином.

Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и,

попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако,

опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще

дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в

войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в

часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали; они опять

пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства

свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком

кругу друзей.

Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что

вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности,

снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз

переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на

пустынном асфальте перрона.

Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного

поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке;

она и вчера там сидела при своих вещах и теперь сидит, ожидая поезда.

Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было - не пригласить ли и

эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе,

зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно, сможет ли она обогреться в будке

стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл

об этой женщине.

Теперь эта женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем

месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность

женского сердца, по крайней мере в отношении вещей и своего дома, куда эта

женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже

не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка,

ее звали "Маша - дочь пространщика", потому что так она себя когда-то

назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика.

Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта

Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному

найму.

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час.

Поезд, который должен отсюда увезти домой и Машу и Иванова, находился

неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и

развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна,

проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым

телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь

новой, гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла

к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и

называли "просторной Машей" за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у

истинной сестры, всех братьев в одну любовь, и никого в отдельности. А

теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к

родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако

Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии, ему казалось,

что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым

вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов

быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие

или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость - и

тем выходил из своего уныния. Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она

по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

- Я чуть-чуть, - сказал Иванов, - а то поезд опаздывает, скучно его

ожидать.

- Только поэтому, что поезд опаздывает? - спросила Маша и внимательно

посмотрела в лицо Иванову.

Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять, кожа на лице его,

обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет, серые глаза

Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он хотя и

прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос

пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и беззащитности

на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к

тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от

Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного

вином - теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут

родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями,

пивом и вином. Иванов повторил свою просьбу.

- Я осторожно, я поверхностно, Маша... Вообразите, что я вам дядя.

- Я вообразила уже... Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

- Вон как... Так вы позволите?

- Отцы у дочерей не спрашивают, - засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние

павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... Отошедши от

железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить

яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину.

Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где

она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и

попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее

мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще

оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу

остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь

для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и

погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь

двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной

привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и

остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его

ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов

откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал,

почему так делал, может быть потому, что хотел погулять еще немного на

воле.

Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости

не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая

более ни о чем.

Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала

его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно

помнить ее образ.

Маша улыбнулась в ответ и сказала:

- Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете...

Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.

- Дорогая моя Маша... Где вы раньше были, почему я давно-давно не

встретил вас?

- Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было...

Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша,

оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть: ни подруги,

ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба. Иванов смотрел через

окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в

своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе,

живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще

из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и

желает как можно скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем

поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла

нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно

ходит маятник стенных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала

на вокзал детей - Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет

днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке

шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном

подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр

был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо

у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а

маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как

будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно:

башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые,

переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех - где нужно,

там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил

на маленького небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.

- Ты отец, что ль? - спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и

поцеловал, приподнявши к себе. - Знать, отец.

- Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич.

- Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

- Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы?

- Нормально, - сказал Петр. - Сколько у тебя орденов?

- Два, Петя, и три медали.

- А мы с матерью думали - у тебя на груди места чистого нету. У

матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали... Что ж у тебя мало

вещей - одна сумка?

- Мне больше не нужно.

- А у кого сундук, тому воевать тяжело? - спросил сын.

- Тому тяжело, - согласился отец. - С одной сумкой легче. Сундуков

там ни у кого не бывает.

- А я думал - бывает. Я бы в сундуке берег свое добро - в сумке

сломается и помнется.

Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за

ним.

Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы,

словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она

сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась - не явился

ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем, у него есть такая

привычка - являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и

Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда

принесет что-нибудь для детей - конфет, или сахару, или белую булку, либо

ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена

Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен

Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился, как родной отец, и даже

внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж

увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть

чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама

расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня

не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь,

чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.

Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не

помнила, начала отталкивать его от матери, упершись в его ногу, а потом

заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком

за плечами: обождав немного, он сказал:

- Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от

страха.

- Настька! - окликнул ее Петрушка. - Опомнись, кому я говорю! Это

отец наш, он нам родня!..

В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и

почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война

миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости

лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками - они хотели

теперь отдыха в сумраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя

праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку:

стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на

подоконниках, русскую кухонную печь... Долго они жили здесь без него и

скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с

каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал

устоявшимся родным запахом дома - тлением дерева, теплом от тела своих

детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же, как и четыре

года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более

Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в

сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было запаха

родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они

пахли лесною листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова

тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить

по-граждански, Маша - дочь пространщика? Бог с ней...

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того,

что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать и

что не надо и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку

и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое

сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и

доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.

- Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна...

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно

готовила пирог-скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в

печку, в которой Петрушка уже разжег огонь.

- Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! - командовал Петрушка. -

Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копаться, стахановка!

- Сейчас, Петруша, я сейчас, - послушно говорила мать. - Я изюму

положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм

берегу.

- Он ел его, - сказал Петрушка. - Нашему войску изюм тоже дают. Наши

бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят... Настька, чего ты

села - в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на

сковородке... Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом

чугун со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому

огню в печи:

- Чего горишь по-лохматому, ишь во все стороны ерзаешь! Гори ровно.

Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли... А ты,

Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было,

как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить

тонко - зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание

пропадает... Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз

говорю, а потом по затылку получишь!

- Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь, - кротко произнесла мать.

- Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить, и чтоб

тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть... К нам отец

приехал, а ты все серчаешь!

- Я не серчаю, я по делу... Отца кормить надо, он с войны пришел, а

вы добро портите... У нас в кожуре от картошек за целый год сколько

пищи-то пропало?.. Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной

кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы

дали... Видали, что было бы, а вы не понимаете!

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и

удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя,

тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные

и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.

- Люба, - спросил Иванов жену, - ты что же мне ничего не говоришь -

как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты

делаешь?..

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от

него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в

юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь

нравилось Иванову.

- Ничего, Алеша... Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их...

Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном работаю, на

прессу, ходить туда далеко...

- Где работаешь? - не понял Иванов.

- На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было,

сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс

поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни... Видишь, какие

выросли? Сами все умеют делать, как взрослые стали, - тихо произнесла

Любовь Васильевна. - К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...

- Там видно будет, Люба... Теперь мы все вместе будем жить, потом

разберемся - что хорошо, что плохо...

- При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю - что правильно, а

что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить...

Иванов встал и прошелся по горнице.

- Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

- Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы

сильно скучали, страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты

погибнешь там, как другие...

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы

ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким

яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать

праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и

исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

- Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ее головку.

- Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я

ушел на войну...

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

- Ты что, Настенька моя?

- А мама плачет, и я буду.

Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

- Чего вы все?.. Настроеньем заболели, а в печке жар прогорает.

Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст? По

старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось - поленьев

десять, и то одна осина... Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар по поду, а

Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке,

посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй

пирог.

Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была

прежняя - с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети

были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как

оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего

возвращения всем сердцем - вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и

не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на

Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и

наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное

лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому

мальчугану, влечение к нему, как к сыну, недостаточно. Иванову было еще

более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка

нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас

смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его

семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой

характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как

можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы

зарабатывать деньги и помочь жене правильно воспитывать детей, - тогда

постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами,

сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.

Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою

и высыпал их себе в рот.

- Что ж ты, Петр, - обратился к нему отец, - крошки ешь, а свой кусок

пирога не доел... Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

- Поесть все можно, - нахмурившись, произнес Петрушка, - а мне

хватит.

- Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на

него, будет много есть, - простосердечно сказала Любовь Васильевна, - а

ему жалко.

- А вам ничего не жалко, - равнодушно сказал Петрушка. - А я хочу,

чтоб вам больше досталось.

Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.

- А ты что плохо кушаешь? - спросил отец у маленькой Насти. - Ты на

Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься

маленькой...

- Я выросла большая, - сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше,

отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.

- Ты зачем так делаешь? - спросила ее мать. - Хочешь, я тебе маслом

пирог помажу?

- Не хочу, я сытая стала...

- Ну, ешь так... Зачем пирог отодвинула?

- А дядя Семен придет. Это я оставила. Пирог не ваш, я сама его не

ела. Я его под подушку положу, а то остынет...

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на

кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда

пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.

- А кто этот дядя Семен? - спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

- Не знаю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей

немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

- Как играть? - удивился Иванов. - Во что же они играют здесь у тебя?

Сколько ему лет?

Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу

ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец

по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папироску.

- Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? - спросил

затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с

комода книжки и принесла их отцу.

- Они книжки-игрушки, - сказала Настя отцу, - дядя Семен мне вслух их

читает, вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка...

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя

Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со

внучкой прядет...

Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то

тепло из дома выйдет.

Закрыв вьюшку, он сказал отцу:

- Он старей тебя - Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть

живет...

Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе

плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.

- Чтой-то облака, - проговорил Петрушка, - свинцовые плывут, из них,

должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима станет? Ведь что ж тогда нам

делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету... Ишь

положение какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою

робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой

этот Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он

ходит - к Насте или к его миловидной жене, - но Петрушка отвлек Любовь

Васильевну хозяйственными делами:

- Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на

прикрепление. И еще талоны на керосин давай - завтра последний день, и

уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу

тару, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без

мешка нельзя! А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не

пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда

ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не

будешь, а растапливать его - дрова тоже нужны.

Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал пол возле печки и

складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами:

- Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом есть, - указал

всем Петрушка. - А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и

военкомат сходить, станешь сразу на учет - скорей карточки на тебя

получим.

- Я схожу, - покорно согласился отец.

- Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.

- Нет, я не забуду, - пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в

молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети

боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

- Как у вас, Люба, с одеждой - наверно, пообносились?

- В старом ходили, а теперь обновки будем справлять, - улыбнулась

Любовь Васильевна. - Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм,

двое твоих штанов и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у

нас не было, а детей надо одевать.

- Правильно сделала, - сказал Иванов, - детям ничего не жалей.

- Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в

ватнике.

- Ватник у нее короткий, она ходит - простудиться может, - высказался

Петрушка. - Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю

ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил приценялся, есть

подходящие...

- Без тебя, без твоей получки обойдемся, - сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать

материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе, -

уже холодно стало, осень во дворе. Петрушка глянул на сестру и осерчал на

нее:

- Ты чего балуешься, зачем очки дяди Семена одела?..

- А я через очки гляжу, а не в них.

- Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь

иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же, я тебе

говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь,

когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки - забыла уж, когда

занималась!

- А Настя что - учится? - спросил отец.

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый

день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще

учит сестру счету; складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а

буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с

пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку,

надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день;

наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их

за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы

дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и

поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежащая на

деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка,

легший на русскую печь, где он всегда спал и зимой и летом, ворочался там,

кряхтел, шептал что-то и не скоро еще угомонился. Но наступило позднее

время ночи, и Настя закрыла уставшие глаза, а Петрушка захрапел на печке.

Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может

что-нибудь случиться и он не услышит - пожар, залезут воры-разбойники или

мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло

выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей,

говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени - полночь или

уже под утро - он не знал, а отец с матерью не спали.

- Алеша, ты не шуми, дети проснутся, - тихо говорила мать. - Не надо

его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...

- Не нужно нам его любви, - сказал отец. - Я сам люблю своих детей...

Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама

работала, - зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у

тебя горит еще... Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит,

ты в дураках меня оставила...

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

- Что ты, Алеша, что ты говоришь! - громко воскликнула мать. - Детей

ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные...

- Ну и что же!.. - говорил отец. - У других по четверо детей

оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон

Петрушка что за человек вырос - рассуждает, как дед, а читать небось

забыл.

Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать

дальше. "Ладно, - подумал он, - пускай я дед, тебе хорошо было на готовых

харчах".

- Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! - сказала мать. -

А от грамоты он тоже не отстанет.

- Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать, -

серчал отец.

- Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе!

Чего вы шумите и свет зажгли?

- Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, - ответила

мать. - И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.

- А вы чего говорите? Чего отцу надо? - заговорил Петрушка.

- А тебе какое дело - чего мне надо! - отозвался отец. - Ишь ты,

сержант какой!

- А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она

и так худая, картошку без масла ест, масло Настьке отдает.

- А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? - жалобным

голосом, как маленький, вскричал отец.

- Алеша! - кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

- Я знаю, я все знаю! - говорил Петрушка. - Мать по тебе плакала,

тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

- Да ты еще не понимаешь ничего! - рассерчал отец. - Вот вырос у нас

отросток.

- Я все дочиста понимаю, - отвечал Петрушка с печки. - Ты сам не

понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...

Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно

заплакал.

- Большую волю дома взял, - сказал отец. - Да теперь уж все равно,

живи здесь за хозяина...

Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:

- Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был...

Вон пойди завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком

служит, он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой

вернулся. Пойди у него спроси, он все говорит и смеется, я сам слышал. У

него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а

сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали

там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в

магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают...

- Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет, - сказала

мать.

- А вы мне тоже спать не давали... Светать еще не скоро будет. Этот

без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне

жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а

ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего.

Ругался-ругался, потом уморился, не стал Анюту мучить и сказал ей: "Чего у

тебя один безрукий был, ты дура-баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и

Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя, Нюшка, была, и еще надобавок

Магдалинка была". А сам смеется, и тетя Анюта смеется, потом она сама

хвалилась - Харитон еще хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал, и

от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке

рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно,

по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: "Обманул я свою

Анюту, никого у меня не было - ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не

было, и Магдалинки надобавок не было, солдат - сын отечества, ему некогда

жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту

напугал..." Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без

стекла...

Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка.

"Вот сукин сын какой! - размышлял отец о сыне. - Я думал, он и про Машу

мою скажет сейчас..."

Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь по правде.

Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго

спал, ничего не сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с

картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый

день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам,

как будто читала.

- Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место! - сказал Петрушка

сестре. - Где мать-то, на работу ушла?

- На работу, - тихо ответила Настя и закрыла книгу.

- А отец куда делся? - Петрушка огляделся по дому, в кухне и в

комнате. - Он взял свой мешок?

- Он взял свой мешок, - сказала Настя.

- А что он тебе говорил?

- Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.

- Так-так, - сказал Петрушка и задумался. - Вставай с пола, - велел

он сестре, - дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем...

Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки

и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью

окончательно решил уехать в тот город, где оставил Машу, чтобы снова

встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо,

что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли

природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя

угадать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немножко обрадуется, когда

снова увидит его, и этого будет с него достаточно: значит, и у него есть

новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый

сердцем. А там видно будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера

прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. "Вот Маша не

ожидает меня, - думал Иванов. - Она мне говорила, что я все равно забуду

ее и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда".

Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет,

посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у

него рожались дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его

можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он

жил, выходит на железнодорожный переезд, и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые

осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на

домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он

узнал две высокие трубы вдалеке: одна была на мыловаренном, а другая на

кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она

живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы

ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против

нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим,

чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с

мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что

жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание,

это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если

бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы

другого человека.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не

желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети:

не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед - далеко ли осталось до

переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала

сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали

пучки соломы и сена, упавшие с возов, ивовые прутья и конский навоз.

Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю;

редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или

возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас; пустой лежала

деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога,

бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше,

и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший,

как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, не поспевал за большим.

Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома

города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть,

идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд,

проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно

захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с

пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на полку, где не будут мешать

другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до

последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду.

Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них

поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону

Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот

возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел,

что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, - от

этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших,

обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди,

будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю

его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его

существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде,

гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через

преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее

обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных

детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они,

должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал

его домой, к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и

не узнал своих детей.

Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной

дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю

и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на

нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой

бежали ему вослед его дети.

1946